

УДК 82–312.6

## ФЕНОМЕН АВТОРСКОЙ ПАМЯТИ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ДИАЛОГЕ

**Алексей Владимирович Голубев**

старший преподаватель кафедры русской и зарубежной филологии

Соликамский государственный педагогический институт

618400, Березники, ул. Ленина, 28, кв. 98. isaitsh@mail.ru

Автором статьи вводится понятие «авторская память» как интегрирующая смысловая структура, содержательно охватывающая весь комплекс нарративных стратегий, обусловленных выбором писателем определяющих социально-идеологических, эстетических и художественных контекстов. Данный феномен содержательно обращен не только на процесс индивидуально-личного воспроизведения опыта пережитого, но и на творческое осознание случившегося с писателем. Достоверность исторического свидетельства вступает во взаимодействие с направленностью авторского сознания на художественную трансформацию вспоминаемого.

**Ключевые слова:** авторская память; нарративная идентичность; опыт прошлого; презентивная память; контекст; документализм; субъективность авторской позиции.

В динамике мемуарно-автобиографической прозы XX в., в развитии автодокументальных жанров (Л.Я.Гинзбург) мы наблюдаем узловые конструкты, изучение которых требует междисциплинарного подхода. Используемое нами в качестве рабочего понятие «авторская память» на первый взгляд может показаться уже вполне освоенным феноменом. Вместе с тем его эвристические возможности далеко не раскрыты. В авторской памяти, в нашем понимании, соотносятся достаточно удаленные друг от друга, но тесно взаимодействующие стороны авторского сознания: достоверность вспоминаемого и творческое воображение пишущего. Поэтому необходимо отграничить понятие «авторская память» от созвучного ему терминологического определения «память автора».

Говоря о «памяти автора», мы имеем в виду все богатство накопленных писателем на протяжении его жизни впечатлений, мировоззренческих оценок, суждений – словом, всего того, что составляет сферу «интеллектуального запаса» личности. Понятие «авторская память» содержательно обращено не столько к «объему вспоминаемого», сколько к самому процессу творческого отображения фактов, явлений действительности. Нас интересует, по сути, характер трансформации сохраненного в памяти писателя в «действительность» мемуарного или автобиографического текста. Цель данной статьи – системное изложение важнейших, с нашей точки

зрения, философско-эстетических, этических и собственно литературоведческих подходов к заявленному нами понятию «авторская память» и акцентирование тех из них, которые могут быть продуктивно использованы в литературоведческом анализе автодокументальных текстов.

Показательно, что в последние годы к освоению данной категории обратились современные философы (П.Рикёр, 2004; В.А.Подорога, 2001; В.Д.Губин, 2009; А.М.Руткевич, 2005), историки (Ф.Р.Анкерсмит, 2007; Л.П.Репина, 2006; А.Мегилл, 2009; П.Нора, 1999; П.Х.Хаттон, 2003; И.М.Савельева; А.В.Полетаев, 2005), психологи (В.В.Нуркова, 2006; Р.Л.Солсо, 2002; У.Найссер, 2005), социологи (Б.В.Дубин, 2005; А.Ф.Филиппов, 2005), культурологи (Я.Ассман, 2004; Д.Лоуэнталь, 2004). Активно исследуется представляющая для нас интерес категория в корпусе лингвистических и литературоведческих изысканий (М.П.Абашева, 2010; В.В.Абашев, 2008; Б.В.Аверин, 2003; Н.Г.Брагина, 2007; Б.М.Гаспаров, 1996; К.Вьолле, 2006; Г.Кнабе, 2004; Ф.Лежен, 1998, 2006; М.Маликова, 2002; М.Медарич, 1998; Е.К.Созина, 2001; Е.Павлов, 2005; И.Савкина, 2007; Р.Лахманн, 2011)<sup>1</sup>.

Выявление специфики мнемонической деятельности как отдельной личности, так и коллективных институций требует не только комплексного охвата текстуальных массивов, но и выработки методологических оснований, опираясь на которые мы можем в той или иной мере преодо-

леть односторонность, неполноту, случайный характер предпринимаемых исследовательских практик. Потому мы вправе признать широкий научный интерес к исторической, культурной, автобиографической памяти оправданным и продуктивным, позволяющим оценивать ставшие уже давно привычными социокультурные, эстетические и собственно художественные явления в иной смысловой перспективе.

В теоретической и практической разработке обозначенного нами феномена наблюдается содержательное сближение, казалось бы, значительно удаленных друг от друга исследовательских областей.

Так, в знаковой для развития в 80-е гг. XX в. европейского эпистемологического направления монографии М.К.Мамардашвили и А.М.Пятигорского «Символ и сознание» мы обнаруживаем один из парадоксов отношения памяти к реальности. Авторы пишут: «Реально действующей силой, т.е. действительностью, является то, как мы помним, воспринимаем, интерпретируем это случившееся с нами, и это «как» может меняться, но меняться в действительности, не только в восприятии» [Мамардашвили 2011: 36–37]. Размышляя о природе познания исторической реальности, которая открывается познающему её субъекту, Ф.Р.Анкерсмит приводит афористично звучащий тезис: «мы видим только то, что видит нас» [Анкерсмит 2007: 261]. Далее он продолжает: «...это интимнейшая связь между субъектом и объектом, не имеющая равных в других наших отношениях с миром, может осуществиться потому, что субъект и объект видят друг в друге только субъект и объект, а не маску, за которой прячется некая более глубинная реальность» [там же]. Данную исследовательскую мысль дополним высказыванием М.Мерло-Понти: «Организм активно выбирает из всего разнообразия окружающего мира те стимулы, на которые ему предстоит откликнуться, и в этом смысле создает под себя свою среду. Познающее тело и окружающий его мир находятся в отношении взаимной детерминации» [Мерло-Понти 1999: 106].

В приведенной цитате мы выделяем идею глубинных связей, возникающих между предметно-событийным многообразием окружающего мира и человеческим сознанием.

Напомним, что еще у Аристотеля в трактате «De memoria et reminiscencia» («О памяти и припоминании») память понимается как сложный многоуровневый процесс, содержательно включающий в себя две важнейшие стороны: *mnēmē* (простое воспроизведение явлений объективной реальности) и *anamnēsis* (усилие воли по вызыванию воспоминаний). Главной заслугой Аристотеля является различение *mnēmē* и *anamnēsis*.

«Простое» воспроизводство материального мира фиксирует непосредственность акта включенности человека в саму реальность, его присутствие в ней, тогда как сложные ходы в лабиринтах сознания, с активизацией воображения, фантазии, т.е. всего того, что существенно влияет на сам характер запечатленной реальности, фокусируют наше внимание на другом неотъемлемом свойстве человеческой памяти – ее творческом характере.

Показательно, что вслед за Аристотелем в развитии европейской науки наметилось двойное движение в интерпретации памяти, механизмов ее функционирования, выявлении характерных форм индивидуального и коллективного воспоминания и т.д. Явственно определились два ведущих направления, которые в немецкой естественно-научной мысли получили условное обозначение «Die Erfahrung» и «Die Erlebnisse». В первом направлении особо выделяется изучение самого воспоминаемого, т.е. всей сферы природного универсума, который мыслится *верно* отраженной памятью в индивидуальном и коллективном сознании. Здесь доминирует *предметность* отражаемых явлений, а потому и механизмы памяти даны в ракурсе их функциональности, естественной необходимости в диалоге человека с миром.

Другое направление получает импульс в своем развитии вместе с развитием психологии Нового времени. В этой связи в первую очередь обратимся к работам Вильгельма Дильтея. В них критически оцениваются натуралистические заблуждения позитивизма, в котором богатство отношений человека к миру жестко редуцируется до эмпирико-познавательного начала: «...но человек как целое – это структурированная взаимосвязь движения, чувство его воли в рамках единого жизненного акта» [цит. по: Губин 2009: 292]. Следовательно, «переживание связи (между миром и сознанием) лежит в основе всякого постижения фактов духовного, исторического и общественного порядка в более или менее выясненном, расчлененном и исследованном виде. Переживать что-то означает, по Дильтею, включать то или иное впечатление в общий контекст, в общую связь своей духовной жизни» [там же].

Интересно, что уже в XIX в. интеллектуальная мысль Европы и России формирует промежуточное направление, стремящееся собрать воедино достижения каждого из «векторов» духовно-практического наследия человеческого познания. Так, К.Д.Ушинский в «Педагогических сочинениях», останавливаясь на специфике изучения памяти, предлагает следующую ее интерпретацию: «Под именем памяти мы разумем: 1) или способность сохранять следы протекших

ощущений и представлений и потом снова сознавать их; 2) или психофизический процесс, посредством которого мы возобновляем пережитые нами ощущения; 3) или мы представляем память как результат этой способности и этого психофизического процесса, т.е. как сумму всего того, что мы помним. В этом последнем смысле психологи, принимающие всю душу за ассоциацию следов, делают память и душу понятиями тождественными» [Ушинский 1990: 265].

В приведенном высказывании Ушинского существенно значима **попытка отождествления души и памяти**. Пройдут десятилетия, и Мартин Хайдеггер в статье «Что значит мыслить?» вернется к толкованию мнемонического акта: «Греческое слово *mnesis* – имя одной из титанид. <...>. Драма и танец, пение и поэзия вышли из чрева Мнемозины – памяти. Очевидно, это слово называет нечто иное, чем просто психологически понимаемую способность удерживать прошедшее в представлении. Память мыслит помысленно. Но имя матери муз означает не любое мышление о чем угодно, что можно помыслить. Память здесь – это собрание мыслей о том, что помыслено уже заранее, ибо оно может мыслиться постоянно и прежде всего остального. <...>. Это собрание прячет в себе и укрывает в себе то, что всегда мыслит в первую очередь, все, что существует и обращается к нам, зовет нас как существующее или побывшее. Память, собранные воспоминания о том, что произошло, – это источник поэзии» [Хайдеггер 1991: 140].

В заданной рефлексии Хайдеггер, по существу, придерживается представления Платона о таинстве памяти. Память оказывается необъяснимым до конца явлением, поскольку в процессе мышления она преобразуется и стремится как к форме «чистого образа», так и к аналитической рефлексии, чтобы с ее помощью отформатировать уже то, что «есть в мире и, стало быть, в сознании человека» [там же]. В такой интерпретации памяти мы вплотную подходим к ее онтологической сути. Выходя за рамки сугубо психических представлений о реально существующем и о процессе восприятия, представления об этом существующем, память преобразуется в непроясненный духовный диалог между человеком и миром, природой, Богом и, тем самым, выступает в качестве непрерывно осуществляющейся символической связи, что предопределяет во многом ее последующее преобразование в актах познавательного, эстетического и собственно художественного творчества.

Символическая роль памяти находит всестороннее освещение в работах русской религиозной философии конца XIX – начала XX в. Павел Флоренский пишет: «Память есть символы твор-

чества. Помещаемые в прошедшее, эти символы в плоскости эмпирии именуются воспоминаниями; относимые к настоящему, они называются воображением; а располагаемые в будущем, – считаются предвидением и предведением. <...>. Во всех трех направлениях памяти деятельность мысли излагает Вечность на языке времени; акт этого высказывания и есть *память* (курсив автора. – А.Г.). Сверх-временный субъект познания, общаясь со сверх-временным же объектом, это свое общение развертывает во Времени: это есть память. Таким образом, память – творческое начало мысли, т.е. мысль в мысли и собственной мысли» [Флоренский 2003: 178–179].

Итак, феномен памяти, взятый в своем онтологическом аспекте, относится к числу наиболее сокровенных и трудно объяснимых явлений в человеческой культуре и вообще в жизни. Если позитивистское толкование памяти максимально сближает объекты материально-природного мира и человеческую практику, «заботясь» прежде всего о системном изучении природных объектов и процессов, протекающих в объективной реальности, то онтологическое измерение предлагает принципиально иное понимание как психофизиологического, так и гносеологического, а также социально-этического порядка.

В онтологии память преобразуется в универсальную сущность, «переводящую» реальные соприкосновения человека с эмпирикой окружающей действительности в план создания принципиально иной духовной реальности, которая, не выходя за пределы самой жизни, исполняет роль динамично развивающегося осознанного отношения человека к этой жизни. И в этом плане память человека, будучи проявлением духовной реальности, оказывает всестороннее воздействие на характер эмпирического социального контакта.

В процитированном выше фрагменте рассуждений Павла Флоренского находим движение мысли, генетически восходящее к риторическим сентенциям блаженного Августина: «Но ведь память и есть душа, ум; когда мы даем какое-либо поручение, которое следует держать в памяти, мы говорим: «Смотри, держи это в уме»; забыв, говорим: «Не было в уме», «из ума вон» – мы, следовательно, называем память душой, умом <...>» [Блаженный Августин 2007: 352].

Онтологическое толкование памяти, по существу, предельно расширяет границы объема и содержания данного понятия, наделяет его качествами самого сознания и, тем самым, переводит разговор о памяти в интерпретацию одного из самых загадочных и трудно объяснимых субстанциональных категорий человеческой сущности. Вместе с тем следует признать, что при та-

ком широком подходе к толкованию памяти мы объективно сталкиваемся с рядом проблемных «апорий» (термин М.Мамардашвили), которые придают нашему пониманию характер гипотетической поисковой направленности. Потому неслучайно, что в исследовательском сознании формируется стремление определить понятие памяти в иной категориальной «сетке».

Так, Ф.Анкерсмит в книге «Возвышенный исторический опыт» активно использует прочно устоявшийся в европейской науке XIX в. смысловой потенциал терминологического конструкта «*опыт прошлого*». В ракурсе такого подхода память может быть представлена в двух «измерениях»: как опыт присутствия человека в мире «здесь и сейчас», что является предметом *презентивной памяти*, оперативной, реагирующей на непосредственно происходящие вокруг события, и как опыт ретроспективного возвращения к раз и навсегда происшедшему, что находит отражение в устной или письменной форме закреплённого феномена «собственно» прошлого.

Вычленяемые нами две автоматизированные стратегии создают сложноорганизованный комплекс связей и отношений между человеком и временем, исторической эпохой, социумом, с одной стороны, и изменяющимся в потоке непрерывно текущей жизни сознанием самого человека. Тем не менее наиболее известные нам автобиографические, мемуарные произведения мировой литературы являются пространством взаимодействия акцентированных выше стратегий авторского письма. Если в «опыте присутствия» актуализируется публицистический аспект, «схватывающий» динамику происходящего, ее еще не определившийся пафос становления, то авторская логика ретроспективного возврата осуществляется в содержательно другом смысловом контексте.

Как правило, итоговые акты воспоминания претендуют на концептуальный охват всей жизни как единого автокомментария, резюмирующего и событийную (социальную, историческую), и аксиологическую определенности личностного отношения к себе и миру. Однако в итоговом опыте ретроспективного возврата мы можем явно ощутить черты «опыта присутствия», тем более что нашей памяти свойственно сберегать аутентичную свежесть прежнего восприятия действительности. В этом случае мы вправе представлять нарративно отображенную память как разворачивающийся на наших глазах процесс художественно-публицистической интерференции, обогащенный включенностью в него документального (хроникального) массива, эпистолярного пласта, каких-либо полемических откликов и т.д., что обеспечивает в конечном счете

выразительность широкого социально-идеологического, исторического, эстетического контекста в развертывании масштабного автодиалога.

Так мы приходим к необходимости осмысления человеческой памяти в ясно заданных пределах *соответствующих контекстов*.

Человеческая память есть память контекстуальная. Любое воспоминание организовано не только «изнутри себя самого» как некая излагаемая последовательность событий, поступков, слов, но и как явно или опосредованно отображаемая «цепь» мыслимых вспоминающим контекстов. Потому истолкование воспоминания обычно начинается с поиска тех подразумеваемых субъектом контекстуальных начал, которые во многом определяют отбор «фактов памяти» и их последующую структурную организацию в текстовом пространстве.

Наше обращение к «дереву контекстов» происходит с двух позиций. Во-первых, подразумеваемые контексты рассматриваются в качестве внешней обуславливающей воспоминание причины, повода, определяющего условия, мотивирующего вспоминающего на ту или иную модель меморативной репрезентации и соответствующей ему структурной организации текста воспоминаний. Во-вторых, осознанно или неосознанно подразумеваемые контексты определяют «повествовательную идентичность» (П.Рикёр) вспоминающего субъекта, который непрерывно соотносит и «опыт присутствия», и «опыт ретроспективного возвращения» со свободно выбранными им самим контекстуальными рядами. Здесь сам отбор контекстов совершается как воплощение нравственной воли и эстетической инициативы вспоминающей личности. Оттого акт памяти перестает быть, несмотря на всю его спонтанность, «непредумышленность», случайным действием сознания.

Наоборот, даже в отрывочных воспоминаниях, сегментированных «сгустках эйдетической неопределенности» ясно мерцают аксиологические, морально-этические, политические «горизонты реальности», на которые продолжает настойчиво ориентироваться актуализируемая память личности. Отбор «личных» контекстов, по существу имеющих универсально-всеобщий характер, является одновременно предшествующим акту памяти, его сопровождающим и результирующим процессом, когда память преобразуется в чувство, состояние, мысль, поступок.

Нам важно подчеркнуть, что, какой бы отрывочной структурой не обладала фрагментарность воспоминаний, ее эйдетическая и смысловая определенность базируется на вовлеченности человека *целиком* в бесконечное движение «жи-

вой жизни». Даже пребывая в состоянии автономного отчуждения, где память кажется герметично замкнутой в себе творческой лабораторией сознания, человек остается действующим «агентом реальности». И в этом плане память как способность, дар, откровение выступает еще в одной значимой социальной роли – объективно явленного посредника между личностью и миром, обществом, культурой, вечностью.

Тем и сложна и интересна человеческая память, что в ней синхронно совершаются парадоксальные явления, одни из которых отсылают к культурно-исторической семиотике и онтологии отображаемого в ней, а в других своих свойствах она нам открывает обуславливающие ее внутреннюю природу контекстуально означаемые «вещи».

Наблюдаемая нами «картина памяти» здесь раскрывается еще одной своей стороной, которую мы определяем как этико-аксиологическую. В начале 1990-х гг. Ю.Н.Давыдов в статье «Этическое измерение памяти» усилил момент глубинной органической связи, возникающей между индивидуально-личной памятью и памятью рода. Этическое измерение памяти вырастает в основе такой соотнесенности, когда интимно-личное воспоминание в той или иной мере раскрывает богатство изначальных архетипических ценностей и смыслов, создающих незримый каркас, на который надежно опирается персоналистическое воспоминание. Установление типологических «исходных» связей автобиографической памяти с духовно-этической традицией народа является неотъемлемой задачей исследователя, ибо достоверность документальных свидетельств – это воплощение ментальных структур коллективного сознания. Иначе говоря, в «голосе индивидуальной памяти» мы слышим мелодию народного самосознания» [Давыдов 1990].

Считаем необходимым обратить особое внимание на социальный аспект в осмыслении феномена памяти. Еще во второй половине 20-х гг. XX в. французский социолог М.Хальбвакс задался целью выявить сущность влияния общества на формирование индивидуальных психических процессов, их содержательное наполнение. В монографии «Социальные рамки памяти» он разделил воспоминания «на два разряда: одни, социально санкционированные, интересующие не только данного индивида, но и все общество, затверживаются и передаются от одного члена общества к другому» [Хальбвакс 2007: 11], другие локализируются в пространстве индивидуального сознания и функционируют в качестве идентифицирующих актов самосознания.

Для нас существенен и тот факт, что под социальными рамками памяти Хальбвакс понимает

непосредственно пространство и время, предстающие в виде объективных физических «рамок», явственно намечающих контуры личных воспоминаний. Итак, временной фактор трактуется и с точки зрения своей хронологической заданности в жизненном процессе, и с учетом особенностей содержания личных воспоминаний, их актуализации в разворачивании общественных отношений. Тем самым утверждается двунаправленность индивидуальной памяти: быть беспристрастным свидетелем происходящего и «заинтересованным участником» жизненного процесса. Взятая во втором аспекте рассмотрения наша память не ограничивается собственно воспоминанием, она сама организует вокруг себя инициативу целенаправленного воздействия человека на современность.

Проиллюстрируем сказанное на конкретном примере. После публикации в Париже в 1975 г. автобиографической книги А.И.Солженицына «Бодался теленок с дубом» известный литературный критик, в 60-е гг. бывший членом редакции журнала «Новый мир», В.Я.Лакшин, отозвался резко полемической статьей, в которой в качестве основы непримиримого расхождения с писателем обозначил «**невеликодушные памяти**» А.И.Солженицына. Согласимся, что такая трактовка авторской позиции писателя не ограничивается фиксацией эмоционально-чувственного отношения к воспоминаниям. В.Я.Лакшин характеризует одну из примечательных особенностей творческого мышления Солженицына, которая обычно определяется как тенденциозность, идеологическая пристрастность. Но лексема **невеликодушные** иного смыслового порядка. Чтобы ее всесторонне объяснить, совсем недостаточно отсылать к напряженности социально-исторического контекста 60–70-х гг. XX в., возникшей вокруг Солженицына и его творчества. Более того, «невеликодушные памяти» предполагает выявление социокультурного генезиса, обуславливающего именно такой тип отношения непримиримого «оппонента» литературы социалистического реализма, да и самой советской власти, к происходящим в 60-е гг. событиям в стенах редакции А.Т.Гвардовского. Именно в контексте идейной и стилевой преемственности (так называемого «аввакумова начала») раскрывается специфика авторской позиции Солженицына, содержательно включающего в свой состав односторонний характер вспоминаемого писателем. Так, сугубо этическая оценка литературного критика превращается в тему комплексного исследования «механизма» авторской памяти, где индивидуально-личное и социокультурное «измерения» необходимо соотносятся друг с другом,

формируют особое «пространство» столкновения разнонаправленных контекстов.

Парадоксально, что память оказывается неоднократно «больше самой себя»: в ней осуществляются те психофизиологические, до конца не осознаваемые нами процессы, которые организуют человека в единстве себя самого. Помимо того, память предстает источником, ценностно-смысловой опорой в начинании и последовательном осуществлении познавательной, общественно значимой творческой деятельности человека по преобразованию как себя самого, так и действительности, ему непосредственно данной.

Предлагаемое нами понятие авторской памяти, тесно сопрягаясь с тематически близкими терминологическими обозначениями, принятыми психологией (автобиографическая память), интеллектуальной историей/исторической эпистемологией (историческая память), культурологией (культурная память), тем не менее обладает автономной смысловой наполненностью, присущей ему как литературоведческому понятию. Его объем и содержательная спецификация органично вписываются в традиции исследовательских практик, обращенных к глубокой аналитической проработке поэтики мемуарно-автобиографической прозы.

На протяжении второй половины XX в. в американской, европейской советской гуманитарной мысли одним из наиболее значимых трудноразрешаемых теоретических узлов справедливо считалась *проблема типологического разграничения автобиографических и фикциональных жанров*. По верному замечанию М.Маликовой, «все интратекстуальные черты автобиографии легко имитируются в литературных мистификациях <...> и, напротив, характерные приемы фикционализации широко используются в современном фактуальном повествовании» [Маликова 2002: 7–8]. Исследовательница приводит суждение известного американского литературного критика Поля де Мана: «...как эмпирически, так и теоретически автобиография плохо поддается жанровому определению: каждый конкретный случай оказывается исключением из правил, сами произведения норовят выпасть в соседний или вовсе далекий жанр и, что, может быть, является наиболее сильным аргументом, жанровые дискуссии, которые могут иметь такую большую эвристическую ценность в отношении трагедии или романа, остаются удручающе стерильными, когда речь заходит об автобиографии» [цит по: там же: 9].

Сложность межжанровых и внутрижанровых разграничений приводит к тому, что подчас современные историки литературы ищут «замену» жанровой спецификации. Так, Е.К.Созина в мо-

нографии «Сознание и письмо в русской литературе» настаивает: «автобиография – это совершенно особый «жанр литературы», находящийся в пограничной зоне между литературой («фикциональным» письмом) и «действительностью» – действительностью жизни, осмысливаемой как присутствие и наличность ее в сознании. Возможно, поэтому сугубо жанровый, чисто литературный подход к автобиографическим произведениям заводит исследователей в тупик» [Созина 2001: 348]. Ученый считает, что «специфику автобиографической прозы следует искать в самом существе *письма* как некоего механизма или аппарата целостной, экстра- и интровертной организации этих произведений, благодаря которой устанавливается новое измерение авторской субъективности, а в литературу внедряются новые качества “текста-письма”» [там же: 341].

Следует отчасти согласиться с позицией Е.К.Созиной, справедливо обнаруживающей экзистенциальные корни и функции автобиографического письма в процессе творческого самопознания личности. Заслуживает особого внимания приведенное литературоведом суждение М.М.Бахтина о сочетании в судьбе личности «малого и большого опытов», где малый опыт построен на «нарочитом забвении и нарочитой неполноте», а в большом – «память, не имеющая границ, память, спускающаяся и уходящая в дочеловеческие глубины материи и неорганической жизни, опыт жизни миров и атомов» [Бахтин 1996: 77], что в итоге создает масштабное доказательное поле существования в рамках документально-публицистической и художественной словесности особого эстетико-художественного явления, которое объективно выходит за пределы границ жанровых структур.

Интересно, что предметное осмысление данного явления оперирует эвристическими поисковыми по своему характеру терминологическими определениями, к числу которых прежде всего мы относим так называемую **нарративную идентичность** автора повествования. Впервые термин «нарративная идентичность» введен в научное пользование П.Рикёром в монографическом цикле «Время и рассказ». Именно здесь мыслитель сформулировал гипотезу, «согласно которой нарративная идентичность – будь то идентичность личности или идентичность сообщества, является искомым местом в сплетении между историей и художественным вымыслом» [Рикёр 2008: 143].

В толковании П.Рикёра, «...само понимание личности есть интерпретация; интерпретация «Я», в свою очередь, находит в повествовании, среди прочих знаков и символов, преимущественное опосредование; это последнее соверша-

ет заимствование как у истории, так и у художественного вымысла, превращая историю какой-либо жизни в вымышленную историю, или, если угодно, в исторический умысел – в точке пересечения между историографическим стилем биографий и романическим стилем биографий воображаемых» [там же].

Нарративная идентичность раскрывается в трех семантических ракурсах: во-первых, в «режиме» идентичности-тождественности, когда личность воспринимает себя на протяжении всей жизни как сохраняющую глубинную смысловую устойчивость, неизменную в главном социокультурную сущность; во-вторых, нарративная идентичность предполагает «осмысление» себя в аспекте «самости», когда фокусируется неповторимость, уникальность собственного «Я», взятая в диалоге с универсально общечеловеческим и конкретно-историческим; наконец, нарративная идентичность необходимо включает в свой содержательный состав феномен авторского сознания, который, по убеждению М.М.Бахтина, заключается, прежде всего, в диалогическом характере самопрезентации «Я» как другого, когда на смену одноголосому объяснению происходящего и происшедшего приходит диалектика понимания себя в пространстве поиска новой смысловой позиции к себе и к миру [Бахтин 1996].

Если в первых двух аспектах (самотождественности и «единственности» личностного опыта) доминирует объектно-логическое отношение, то взятая в русле диалогичности самосознания нарративная идентичность стремится по возможности полно и целостно охватить богатство самообъективации, которая в самом акте охвата не утрачивает статуса авторской «внезаходимости». Обозначенное нами свойство нарративной идентичности авторского сознания гармонично сочетается с упоминаемой выше идеей М.М.Бахтина о глубинном взаимодействии большого и малого опыта как важнейших форм присутствия личностного «Я», как средоточия многогранных связей с историей, социумом, культурой. Категория авторской памяти есть в таком случае динамично развивающийся многоуровневый комплекс отношений между онто-аксиологическим и презентивным опытом присутствия человека в осознанной им реальности.

По существу, мы утверждаем **творческий** характер отображаемого в жанрово-стилевом единстве авторского письма. В нем процесс становления автобиографического, культурного и исторического опыта самораскрывающейся личности органично дополняется активным «вхождением» персоналистической суверенности в бесконеч-

ность родовой, коллективной памяти. Потому мы считаем необходимым выделить в предлагаемом нами понятии «авторская память» ключевые стратегии автобиографического письма. Одну из них мы условно обозначим как «центростремительная», направленная на осознанное и неосознанное противопоставление автономного ядра личности окружающему миру, современной идеологии, господствующей политической власти и т.д. Другая, условно нами именуемая «центробежная», – стратегия «большого опыта человеческого самосознания», предполагает противоположное: здесь личность инкорпорируется в структуры коллективного сознательного и бессознательного начал, а потому *мифологизируется*, обретает качества культурного героя, что в конечном счете проявляется в явном преобладании фикционального над фактографическим пластом самопрезентации личности.

Нарочито укрупняемая нами творческая составляющая авторской памяти находит подтверждение в психологических характеристиках биографических воспоминаний, когда наше сознание формирует картину мира как становящегося целого и вместе с тем уже наделенного чертами смысловой завершенности явления. Но, что для нас особенно важно, творчество воспоминания соответствует универсальным критериям, приложимым к действительному творческому акту. Факты прошлого перестают быть случайным слепком минувшей жизни, они нарративно преобразуются в живое движение впечатлений, переживаний, осознанных или неосознанных личностных интересов и, реагируя на «вызовы» открывающихся социально-диалогических, эстетических, художественных контекстов, выступают в роли элементов обретающей себя творческой инициативы личности.

Именно творческий характер авторской памяти выдвигает на передний план поэтику автобиографического нарратива, которая, как мы видим, не сводится к статике традиционных «общих мест», риторических фигур, эмблематических образов, неоднократно применяемых в соответствующих группах текстов.

Системообразующими факторами поэтики нарратива специалисты обычно считают **документализм** как эстетический и вместе с тем стилеформирующий принцип в развертывании стратегии авторского письма и **субъективность** авторской позиции, ее «наступательное» полемическое начало.

Интересно, что вокруг обозначенных нами явлений, ставших давно хрестоматийными факторами стилеобразования мемуарно-автобиографической прозы, до сих пор сохраняются зоны напряженных профессиональных дис-

куссий. Причиной тому следует считать семантическую многоплановость интерпретируемых учеными категорий.

Еще в 80-е гг. XX в., когда возникла острая потребность в установлении типологических основ документально-публицистической прозы как ярко заявившего о себе жанрово-стилевого течения советской литературы, видный публицист и критик В.Кардин попытался преодолеть одно-сторонность существующих исследовательских позиций. В статье «В защиту дефиса (к спорам о документально-художественной литературе)» он подчеркнул: «В конце концов, не термины нас занимают, но суть. Дефис, соединяющий два понятия в эпитете «документально-художественная», вдруг ставится на ребро, обозначая запрет, границу, по обе стороны которой залегли противники. Происходит это еще и потому, что в сознании нашем живет представление о двух правдах <...>. Нужно, вероятно, понять меру объективного своеобразия документально-художественной литературы, не обособленной китайской стеной от литературы художественной, однако самоопределившейся как полноправный вид словесного творчества» [Кардин 1989: 228].

Предпринимаемые многократно попытки исследователей сформулировать определяющие стороны данного вида словесности в конечном счете сводились к признанию творческой памяти как первоосновы в формировании авторских высказываний, в той или иной степени обращенных к «языку фактов».

Исследователи не только признали относительно условный характер жанровых дефиниций, о чем мы писали выше, но и пришли к пониманию необходимости поисков специфики автобиографического видения мира с активным включением в текст повествования документального массива, не ограничиваясь изучением «технологических» особенностей нарратива, описательно-фиксирующих историческую реальность на уровнях монтажных ходов, коллажных вставок документов, использования хроникальных приемов в организации сюжетного единства и т.д. Каким бы ни был разнообразным арсенал применяемых автором «технических» средств, все они так или иначе способствовали формированию целостных «картин реальности», преобразованных авторским сознанием по закону эстетического освоения действительности.

Характерно, что и в дискуссиях последних лет мы встречаем хорошо знакомые методологические подходы. Так, авторитетный историк литературы Е.П.Гречаная, оценивая появившиеся в последние годы интерпретации автобиографического письма, фокусирует наше внимание имен-

но на принципиальной, с ее точки зрения, трансформации в текстах мастеров автобиографической прозы воспроизводимой «объективной реальности» жизни. Она пишет: «Мы полагаем, что если автобиография что-то и отражает, то прежде всего усилия автора по созданию собственного образа и собственной версии своей жизни» [Гречаная 2003].

Такой подход нам видится чрезмерно категоричным, оставляющим в стороне значительный пласт мемуарных текстов, изначально создаваемых авторами в расчете как раз на сбережение исторической памяти, где персоналистичность авторского видения не редуцирует верность в отражении текущей жизни. Знаменательно, что в господствующих ныне методологических подходах продолжает проявляться тенденция к строгому размежеванию актов «воспроизводства» реальности, трактуемых в русле «наивного реализма», и творческой фантазии, трансформирующей образы и знаки реального мира в семиоэстетическую природу художественности.

В действительности, авторская память есть интегрирующая творческая производящая основа, поэтому акт «простого воспроизводства» случившегося не сводится лишь к моменту его фиксации, он предполагает ряд параллельно совершаемых процессов: комплексного восприятия реальности, включения воспринимаемого в сферу доминирующих в сознании контекстов, «перевода» созерцаемого в привычные для автора жанрово-стилевые формы и т.д. Поскольку процесс отображения уже сам по себе интегративен и с необходимостью включает в свой состав не просто элементы фантазии, а, что еще более существенно, черты авторского замысла, то, конечно, резко противопоставлять «прямое воспроизводство» увиденного замысловатым метаморфозам авторской фантазии мы считаем неверным.

Как неоднократно подчеркивали философы во второй половине XX в., наше сознание сталкивается не с самой реальностью, взятой в чистом виде, а с уже сложившимися и складывающимися отношениями с ней, многочисленной сеткой опосредований, и без того усложняющей нашу включенность в круг совершающейся жизни. Привычные разделения на субъективное и объективное, по существу, нами осмысливается уже как следование упрощенным представлениям как о самой реальности, так и о нас самих.

Следует напомнить, что уже на рубеже XVIII и XIX вв. велась интенсивная духовная интеллектуальная работа крупнейшими мыслителями мира (И.Шеллинг, И.Кант, И.Фихте, Г.В.Ф.Гегель...) по «прояснению» отношений между реальностью (реальностями) и сознанием. Острота

споров о мере объективности или субъективности авторской памяти, способах претворения ее в поэтологических константах документально-художественной прозы возвращает нас в среду «вечных споров» о существовании человеческого сознания, актуализирующегося в актах творческой самопрезентации. Но, как мы уже заявляли ранее, само сознание нуждается в Другом и раскрывается через Другого, во взаимодействии с Другим. Формосодержащие знаки присутствия Другого в тексте могут быть отнесены к сфере документальных источников, выполнять функции *исторического свидетельства*.

И здесь мы сталкиваемся с рядом новых трудностей. Сколько уже было написано о «мере достоверности» человеческой памяти, ее ненадежности, «капризности», т.е. о тех ее сторонах, которые могут привести к искажению внеположной ей объективной данности окружающего мира. Так называемая мера достоверности в лучшем случае выступает «рабочим термином», руководствуясь которым мы лишь обозначаем наличие проблемы. Главная сложность здесь заключается в том, что вряд ли существуют «строгие» механизмы ее решения. Если мы обратимся к статистико-математическим методам определения меры достоверности, то будем вынуждены разделить весь объем мемуарного текста на совокупность «фактологических отрезков», которые могут быть подтверждены определенным числом свидетелей, соглашающихся с авторской версией случившегося или ее опровергающих.

С другой стороны, нам придется учитывать «вес» самих исторических событий, степень их значимости в нашем сознании. Проведенные процедуры в итоге лишь зафиксируют не абсолютную величину полученной в ходе исчислений пресловутой меры достоверности, а общие тенденции, которые прослеживаются в самом отношении автора к излагаемым им фактам. Причем здесь следует учесть еще одно важное обстоятельство. В самом автобиографическом тексте мы можем обнаружить динамику авторского сознания, когда встречаются следы разных повествовательных стратегий. В таком случае «мера достоверности» станет только одним из аргументов в раскрытии общей динамики авторского сознания.

Еще более усложняет исследовательскую ситуацию толкование документальной достоверности в аспекте истинности/кажмости. Популярный французский философ А.Бадью в трактате «Этика» заметно укрупняет парадокс «истинности» человеческого познания. Он считает, что «истина не обладает всеобъемлющей силой <...>. Должен существовать по меньшей мере один реальный элемент, одна существующая в

ситуации множественность <...>. Точка, которую истина не может вынудить» [Бадью 2006: 121].

Наличие автономного от всеобъемлющей истины смыслового пространства, куда включается «человечность» мнений, взглядов, мировоззренческих позиций, обеспечивает необходимое условие становления и существования бытийной универсальной правоты. Именно авторская память и выступает ареной столкновений надличного всеобъемлющего универсального и «естественно-человеческого», с присущими нашей человеческой природе слабостями, противоречиями, ошибками, без которых, в конечном счете, и не может быть ожидаемой «чистой» правды. Тем более что трудноуловимая «чистая правда» нуждается в живом потоке впечатлений, страстей, т.е. во всей той избыточности человеческого «Я», которая воплощается в полноте автобиографического письма.

Фокусируемая нами проблема имеет еще один, теперь уже морально-этический, разворот. Авторская память есть диктат, «нарративная власть» «вспоминающего» сознания, следование его воле, явно осознанным или неосознаваемым интересам и т.д. Вспоминающий выступает не только в роли свидетеля, очевидца событий и комментатора, и даже участника происшедшего, но в первую очередь он излагает *привилегированную позицию* обладателя определенной системы ценностей, смыслов. Привилегированная позиция вспоминающего сказывается и в отборе фактов, и в тенденциозности их изложения, и в последующей жанрово-стилевой организации авторской картины мира. Право на «вспоминающее» слово может подтверждаться соответствующей общественной и литературной репутацией, а само «вспоминающее» слово рассматриваться как знаковый поступок, включенный в контекст общественного и творческого поведения автора. По сути, привилегированная позиция означает особую степень ответственности перед современниками и потомками, а также прошлым и собственной совестью. Но ответственность сама по себе не есть отвлеченное схоластическое начало, некая надличная моральная норма, неукоснительно контролирующая осуществление авторской позиции. Под ответственностью мы понимаем единый творческий процесс, в котором невозможно наивно вычленивать из общего смыслового развития то или иное морально-этическое качество.

Действительная проблема привилегированного положения авторского «Я» и есть проблема соотношения «своего права на слово о Другом», о себе самом с непрерывно проявляющимися возможностями «творчества памяти». Мы должны

признать, что обозначенная нами проблема еще не стала предметом самостоятельного литературоведческого изучения и находится пока в стадии ее постановки.

Итак, следует признать, что авторская память писателя создает вокруг себя «проблемное пространство» исследовательских практик, которые мы можем условно разделить на следующие направления:

а) **Методологическое.** Ученым, изучающим специфику мемуарно-автобиографической прозы, приходится так или иначе решать проблему «отображаемого»: созданная автором картина реальности может быть прочитана либо как аналог исторического свидетельства о конкретно произошедшем – «картина факта», либо как авторский модус творческого преображения означаемого, с его полной или частичной редукцией, и тогда мы имеем дело не с самой реальностью как таковой, а с ее произвольной образной репрезентацией.

Кроме того, литературоведы, комплексно осваивающие автодокументальную прозу, в той или иной мере охватывают проблему «интенциональности» авторской памяти. Автодокументальный текст писателя подчиняется одной или нескольким ведущим установкам, последовательно развертывающимся в его воспоминаниях. Выявление и всесторонний анализ авторской позиции, с учетом ее нарратологической «идентичности» – характерности субъектной организации повествования, пафоса, совокупности особенностей фокализации и генерализации предметно-объектного мира и т.д., – выступает неотложной задачей «прояснения» ведущих авторских интенций.

б) **Типологическое.** Изучение категории авторской памяти предполагает комплексное рассмотрение всего массива мемуарно-автобиографической прозы с точки зрения ее жанровой типологии. Исследование бытования автомеморативных стратегий в жанровых моделях дневника, в том числе литературного дневника, мемуаров, эпистолярных текстов и т.д., позволяет не только установить регулярно повторяющиеся свойства мнемонических актов в пределах беллетристического письма, но и выделить знаковое отличие жанров «психологической прозы» в процессе раскрытия интересующего нас феномена авторской памяти.

Мы не можем оставить в стороне проблему осмысления типологии образов автора в автодокументальных текстах. Как мы уже писали выше, идея М.М.Бахтина о сочетании «малого» и «большого» опытов авторского сознания создает перспективу видения «Творца» в мемуарном тексте как участника двух принципиально отличных

друг от друга процессов: непосредственной вовлеченности в «полемическое поле» текущей действительности и непрерывно развертывающегося потока «культурной памяти». Определение главенствующего начала, доминанты в такого рода диалоге есть в конечном счете определение типа автора, организующего данный диалог в пространстве единого текста.

#### Примечание

<sup>1</sup> В труднообозримом массиве исследований, обращенных к феномену памяти, мы выделяем те из них, которые по праву можно считать опорными в осмыслении каждой научной дисциплины как универсально-всеобщего характера человеческой памяти, так и ее узловых «сторон», становящихся предметом научного анализа.

#### Список литературы

*Абашев В.В.* Урал как предчувствие. Заметки о геопозитике Бориса Пастернака // Вопросы литературы. 2008. №4. С.125–144.

*Абашева М.П., Аристов Д.В.* Военная проза 1990 – 2000-х годов: генезис и поэтика // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2010. Вып.8(98). С.139–144.

*Аверин Б.В.* Дар Мнемозины (романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции). СПб.: Амфора, 2003. 400 с.

*Автобиографическая практика в России и во Франции:* сб. ст. / под ред. К.Вьолле и Е.Гречаной. М.: ИМЛИ РАН, 2006. 279 с.

*Анкерсмит Ф.Р.* Возвышенный исторический опыт. М.: Изд-во «Европа», 2007. 608 с.

*Бадью А.* Этика: Очерк о сознании зла / пер. с фр. В.Е.Лапицкого. СПб.: Machina, 2006. 126 с.

*Бахтин М.М.* Собрание сочинений. М.: Рус. словари, 1996. Т.5. 732 с.

*Блаженный Августин Аврелий.* Исповедь. М.: Дарь, 2007. 576 с.

*Брагина Н.Г.* Память о языке и культуре. М.: Языки слав. культур, 2007. 520 с.

*Гаспаров Б.М.* Язык. Память. Образ. Лингвистика языкового существования. М.: Новое лит. обозрение, 1996. 352 с.

*Гречаная Е.П.* Автобиографизм русской прозы. 2003 URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2003/63/gre.html>. (дата обращения: 06.11.2012).

*Давыдов Ю.Н.* Этическое измерение памяти (Нравственно-философские размышления в связи с романами Чингиза Айтматова). 1990. URL: <http://www.vuzlib.org/beta3/html/1/25043/25070>. (дата обращения: 06.11.2012).

*Кардин В.* По существу ли эти споры? М.: Современник, 1989. 463 с.

*Лахманн Р.* Память и литература. Интертекстуальность в русской литературе 19-20 веков /

пер. с нем. А.И.Жеребина. СПб.: ИД «Петрополис», 2011. 400 с.

Маликова М. В. Набоков. Авто-био-графия. СПб.: Акад. проект, 2002. 234 с.

Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание. СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2011. 320 с.

Мерло-Понти М. Феноменология восприятия / пер. с фр.; под ред. И.С.Вдовиной, С.Л.Фокина. СПб.: Ювента; Наука, 1999. 608 с.

Павлов Е. Шок памяти. Автобиографическая поэтика Вальтера Беньямина и Осипа Мандельштама / авторизов. пер. с англ. А.Скидана. М.: Новое лит. обозрение, 2005. 224 с.

Рикёр П. Память, история, забвение / пер. с фр. М.: Изд-во гуманит. лит., 2004. 728 с. [Французская философия 20 века].

Рикёр П. Я – сам как другой / пер. с фр. М.: Изд-во гуманит. лит., 2008. 416 с. [Французская философия 20 века].

Савкина И. Разговоры с зеркалом и Зазеркальем: Автодокументальные женские тексты в русской литературе первой половины 19 века. М.: Новое лит. обозрение, 2007. 416 с.

Созина Е.К. Сознание и письмо в русской литературе. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. 552 с.

Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: в 6 т. / сост. С.Ф. Егоров. М.: Педагогика, 1990. Т.5. 528 с.

Флоренский П.А. Столп и утверждение истины: Опыт православной теодицеи. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 640 с.

Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге: сб. / пер. с нем.; под ред. А.Л.Доброхотова. М.: Высш. шк., 1991. 192 с.

Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / пер. с фр. и вступ. ст. С.Н.Зенкина. М.: Новое изд-во, 2007. 348 с.

## THE PHENOMENON OF AUTHOR MEMORY IN AN INTERDISCIPLINARY DIALOGUE

**Alexei V. Golubev**

Senior Lecturer of Russian and Foreign Philology Department  
Solikamsk State Pedagogical Institute

The author of the article introduces the concept “author memory” as an integrating sense-building structure, which covers the whole complex of narrative strategies, determined by the author’s choice of the dominant social-ideological, aesthetic and artistic contexts. This phenomenon covers not only the deeply personal process of representation of the past experience, but also its creative reflection made by the author. Historical certainty interacts with the inclination of the author’s consciousness to transform recollections artistically.

**Key words:** author memory; narrative identity; experience of the past; operative memory; context; documentary principle; subjectivism of the author’s view.